
СЕРГЕЙ СОРОКИН
ТОМ 1
КОМАНДИР
БОМБАРДИРОВЩИКА

Командир бомбардировщика

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 1

«Автор»
2026

Сорокин С.

Командир бомбардировщика - 1 / С. Сорокин — «Автор», 2026 — (Командир бомбардировщика)

Пятьдесят пять лет, тридцать лет в небе и последний боевой вылет. Подбитый ракетой, командир стратегического бомбардировщика Павел Иванов спасает экипаж и направляет горящую машину в цель. Но вместо смерти приходит новое падение — уже в чужом молодом теле, за штурвалом израненного самолёта над Балтикой августа 1941 года.У Павла есть опыт лётчика XXI века, но нет ни привычных приборов, ни надёжной техники, ни права объяснить, откуда он знает будущее этой войны. Вокруг — отступление, разбитые машины, люди на пределе сил и экипаж, который ещё только должен поверить своему командиру. А впереди — приказ, звучащий почти безумием: поднять тяжёлый бомбардировщик и идти на Берлин.Чтобы выжить, Павлу придётся заново освоить старое небо, вернуть в строй обречённую машину и научиться принимать решения, где цена ошибки — четыре жизни. Здесь не будет лёгких чудес. Только мастерство, ответственность и железная воля человека, который уже однажды выбрал не себя.

© Сорокин С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 9
Глава 3 15
Глава 4 23
Глава 5 31
Глава 6 39
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Сергей Сорокин
Командир бомбардировщика - 1

Глава 1



— Север-один, два пуска ПВО справа снизу. Обе ракеты идут на вас. Группа — отход.

Низовцев выдаёт мне это в шлемофон тем же ровным голосом, каким двенадцать лет назад зачитывал сводку погоды перед вылетом. Но сквозь привычный служебный тон пробивается сухое, натянутое напряжение.

На тактическом дисплее от пульсирующей отметки дивизиона отделяются две яркие трассы — телекодовая линия с КП передаёт данные целеуказания без задержки, секунда в секунду.

Вот какую картину Низовцев перехватил по оперативной сетке на мгновение раньше нас.

До рубежа сброса четыре минуты. Первой ракете до нас — меньше сорока секунд.

За следующим гребнем лежит сухая лощина. В конце её открыт вход в подземную базу, а перед входом стоят три серые пусковые машины и командный контейнер. Полгода полк выслеживал этот мобильный дивизион. Через пять минут тяжелые пусковые окончательно скроются под скальным козырьком, бронестворки сомкнутся, и вскрывать этот укрепрайон придётся заново — если только расчеты комплекса не развернутся первыми для залпа по нашим базам.

У группы один тяжёлый заряд. Он висит под нашим брюхом. Остальные три борта довели нас сюда и расчистили коридор.

Второго удара у них нет.

— Север-один понял. Группа — вправо. Домой. Повторно не заходим.

Я бросаю машину вправо и вниз.

Она отзывается сразу, всем весом, как отзывалась мне тридцать лет. Правое плечо в разворот я не завожу с восемьдесят девятого, поэтому кладу в управление не руку, а спину. Большой палец вдавливает кнопку ловушек. За хвостом раскрывается веер огней, земля встаёт наискось, ремни режут ключицы, кровь отливает от головы, и по краям зрения садится серое.

— Первая пошла за ложной! — кричит оператор сзади. — Вторая держится!

Первая ракета ломает дугу и уходит вниз, за огненным веером.

Вторая проходит сквозь него.

Она продолжает тянуться к левому крылу, будто между нами натянули проволоку.

Я энергично перекладываю тяжелую машину, увожу плоскость в чистое небо и уверенно добираю педалью. Штурвальная колонка наливается упругой тяжестью, на перегрузке затылок и шея жестко вдавливаются в подголовник — прямо в ту ноющую точку на третьем позвонке, о которой вспоминаешь на каждой предполётной разминке.

Пятьдесят пять мне.

Работай, Иванов.

— Держится! — голос оператора срывается. — Слева сзади, держится!

Я даю вторую очередь ловушек. Огни рассыпаются за хвостом, но ракета даже не дёргается.

Значит, ложные цели она больше не берёт.

Я тяну машину ниже, к складке земли. Если успею спрятать нас за гребнем, головке наведения придётся выбирать заново.

Не успеваю.

Удар в левое крыло.

Он идёт по мне через кресло, спину, ремни. Машину сносит вбок. Я ловлю управление обеими руками и сажусь в него всем весом. В кабину сквозь гермошлем врывается чужой, рваный скрежет — не гул форсажей и не свист набегающего потока, а глухой металлический вой вскрытой обшивки и разорванного силового набора, который длится бесконечно долго, пока я отсчитываю драгоценные секунды стабилизации.

Машина отвечает.

Тяжело, с задержкой, огромным плечом, но отвечает. Пока она отвечает, я ещё командир, а не пассажир.

Левую плоскость неумолимо заваливает вниз, стрелка вариометра срывается следом за пробитым крылом. На приборной доске гаснет табло штатных режимов, аварийная сигнализация первой и второй гидросистем вспыхивает тревожным алым светом, а директорная планка курсоуказателя дергается и окончательно гаснет.

Автоматики больше нет.

— Экипаж, голосом.

— Правый живой, — говорит Лёша Громов рядом.

— Штурман живой.

— Оператор живой. Пожар по левой плоскости, давление падает.

Трое ответили. Со мной четверо.

Я разворачиваю машину к лощине. Стоит ослабить левую руку, как крыло утаскивает нас в сторону. Значит, до самого конца придётся держать руками.

— Оператор, сброс.

Щёлкает клавиша.

Ничего.

Самолёт вздрагивает, но тяжесть под брюхом остаётся на месте.

— Основная цепь сброса мертва, — говорит оператор. Голос у него теперь ровный, рабочий. — Пробую резерв.

Ещё один щелчок.

Пауза.

— Резерв мёртв. Изделие на замках.

Вот теперь всё сложилось.

До лощины машина дотянет. Не долетит красиво, а дотянет — если сделать один плавный разворот и больше не менять курс, отдавая высоту понемногу, до последнего метра.

Сбросить заряд нельзя.

Передать задачу некому: у ведомых под крылом пусто.

Если мы сейчас уйдём вчетвером, машина ляжет, где придётся, а серые пусковые через пять минут скроются под скалой.

Если я положу машину на вход, заряд придёт вместе с ней. Но повреждённое крыло уводит нас с линии, и без рук на управлении мы пройдём мимо.

Здесь не может быть двух удобных выходов сразу. Либо сейчас катапультируется весь экипаж, и поставленная задача будет сорвана, либо трое парней выходят немедленно, спасая жизни, а командир в одиночку доводит горящую машину точно в портал.

Я поворачиваю голову вправо.

Громов уже смотрит на меня. Сорок три года, плечи в дверь не проходят, седина на висках. Он всё понял раньше команды и уже качает головой.

— Экипажу борт покинуть.

— Командир, — говорит он густо, с хрипотцой. Не испуганно — зло. — Паш, я рядом. Вдвоём удержим.

Он не уйдёт. А не уйдёт он — умрём вчетвером вместо одного.

У меня для него есть только голос.

Так я тридцать лет говорил жене, когда её увозили с давлением. И дочери перед экзаменом. И внучке, когда она ревела над разбитой коленкой. Не про то, что всё будет хорошо. Про то, что надо сделать в следующие десять секунд.

— Алексей. Тебе вывести людей. Борт покинуть.

Он набирает воздух, чтобы спорить.

— Алексей!

— Понял, — говорит он. — Понял, Паша.

В этом коротком «понял» между нами встает граница тридцати лет совместной службы и мужского братства — всё личное приходится отсечь намертво, чтобы не дрогнула рука, отложив любые эмоции на потом, если этому «потом» вообще суждено наступить.

— Штурман, последняя поправка.

— Два градуса левее, — отвечает он тихо, точно, как ставит точку на карте. — После разворота держи портал под носом.

— Принял. На выход.

— Есть.

— Оператор, изделие на удар.

— На удар, — отвечает он. — Взведено.

— Выход.

Первый пиропатрон бьёт сзади и снизу. Самолёт вздрагивает, в наушниках обрывается одно дыхание.

Второй удар. Третий.

Воздух воет в раскрытых проёмах. Справа от меня пустое кресло. Сзади в эфире остаётся только треск.

Три кресла ушли.

Трое вышли. Один остался.

Я вывожу машину из разворота и кладу нос на вход в скалу.

Управление не хочет. Я дожимаю его плечом и добираю ногой, упираюсь спиной в чашку кресла. Машина разворачивается — огромная, тяжёлая, обиженная, — и повреждённое крыло ведёт её вниз сильнее, чем я прошу.

Стоит на миг ослабить руки, портал уползает вправо.

Катапультироваться и оставить машину на курсе не получится. Курса без меня у неё больше нет.

В эфир врезается голос ведомого:

— Север-три, три купола вижу! Экипаж вышел!

И сразу поверх него Низовцев:

— Иванов, выходи. Повторяю: выходи!

Я смотрю на высотомер.

Стрелка проходит отметку, ниже которой кресло уже не успеет отработать.

Вот теперь пути назад нет. Даже в теории.

В кабине на фоне свиста разгерметизации наступает странная, отрешенная тишина. В этой ледяной ясности перед глазами на миг вспыхивает белый домашний кафель, тонкая струйка воды из лопнувшей на кухне трубы и оставленный у порога маленький детский ботинок внучки с растрепанным синим шнурком.

Отрезать. Не пускать память в руки.

Спокойно, Иванов, дорабатываем заход.

Точка входа. Угол. Скорость.

Три десятка лет я строил расчет захода на бетонку в любых метеоусловиях, и в летном ремесле законы баллистики и аэродинамики остаются неизменными — разве что после штатной посадки машину встречают техники на стоянке.

Лощина раскрывается передо мной целиком. Три серые пусковые стоят у портала. Между ними снуют люди, мелкие отсюда, как мошки. Кто-то машет руками, кто-то бросается к машинам. Я не даю глазам за них зацепиться, потому что глазам сейчас нужна одна точка — тёмный провал между створками.

Держу.

Левое крыло тянет мимо. Я кладу в управление спину, ногу и обе руки. Портал перестаёт ползти и остаётся в середине стекла.

Земля поднимается ко мне без рывка, быстро. В ней уже видны камни, колеи, серое и рыжее, складки брезента на ближайшей машине.

Всё.

— Вот так, девочки, — говорю я. — Вот так.

Тьма.

И в нахлынувшей темноте физика пространства внезапно ломается.

Чашка кресла становится непривычно жесткой, тесной и узкой, бронеспинка упирается прямо под лопатки, зажимая локти в узком кокпите, а переплет фонаря нависает прямо над шлемофоном. Ровный вой за спиной рассыпается и начинает молотить — часто, тупо, поршнями. Керосин уходит, и вместо него в нос бьёт бензином и горячим маслом. Ремни другие. Жёстче и лежат не там.

И руки на управлении не мои.

Узкие в запястье, молодые, с обкусанным ногтем на большом пальце. Они держат правильно. Они знали, где брать, раньше меня.

— Пашка, да мать твою, ты что, оглох?!

Глава 2



Голос орёт мне прямо в ухо, в наушник, с хрипом и с матом, молодой мужской голос, и он зовёт меня по имени, которое у меня внутри отзывается мгновенно, как своё.

Паша.

Я открываю глаза.

Круглые приборы в тесной коробке. Стрелки. Компас. Высотомер, и стрелка на нём валится вниз, как будто её кто-то тянет. Указатель скорости лезет вправо. Авиагоризонт стоит косо, и за стеклом, за грязным гнутым стеклом, горизонт заваливается набок и уходит вверх, а вниз идёт земля, поля и зелень — и всё это идёт мне навстречу быстро.

Мы почти пикируем.

Коробка тесная. Локти у меня почти достают до бортов, над головой низко, шлемофон давит на уши мокрой кожей, и пахнет здесь не кабиной, а сараем: нагретой краской, резиной, бензином и потом человека, который сидел тут до меня. Пот у меня свой, я его чувствую по спине.

У меня в руках управление. Руки чужие. Молодые руки, узкие в запястье, с обкусанным ногтем на большом пальце, и эти руки уже держат правильно, они знали, где брать, до того, как я успел посмотреть.

Ладно.

Ладно, разберёмся потом, сейчас машина идёт в землю.

Пальцы у меня смыкаются на ручке до боли в костяшках. Я тяну её на себя, упираюсь пятками в пол, спиной в чашку и тяну ещё, всем, что у этого тела есть.

Оно идёт туго, будто в него залили смолу. Я вкладываю в движение плечи, локти у меня расходятся сами, и я слышу, как у меня внутри трещит собственный хребет. Ремни врезаются в ключицы. Земля наваливается снизу, кладёт мне на грудь весь свой вес и вжимает меня в железо, желудок взлетает к горлу и остаётся там, кровь отливает от головы, и по краям зрения садится серое.

И посреди этого я ловлю чужую руку.

Она добирает. Мелко, коротко, на волосок, отпускает и снова добирает, и делает это точнее и позже, чем сделал бы я, потому что тут нечего решать, тут надо просто знать. Я не знаю. Рука знает.

Горизонт медленно, тяжело, с воем ползёт обратно вниз. Серое по краям расходится. Стрелка высотомера сначала врёт, потом упирается, потом начинает подниматься.

Летим.

Я выдыхаю и поворачиваю голову, чтобы посмотреть вправо.

Голова идёт легко. Она идёт легко до конца, без хруста в шее, без той короткой заминки на третьем позвонке, с которой я живу лет пятнадцать и с которой каждое утро здороваюсь у зеркала. Я поворачиваю её обратно и делаю это снова, медленно, как трогают чужую вещь.

Ничего не болит.

Ни поясница, которая держит меня в кресле только потому, что я ей плачу зарядкой. Ни правое плечо, куда я не могу завести руку с восемьдесят девятого года. Пусто. Тело сидит вокруг меня лёгкое, злое и молодое, и оно дышит быстро и глубоко, и ему всё нипочём.

Мне от этого страшнее, чем от земли в стекле.

Я перевожу глаза на приборы и читаю их, как приезжий читает чужие деньги. Стрелки на месте, шкалы чужие, цифры стоят не там, где их всю жизнь ставили для меня, и между цифрой и смыслом у меня появляется зазор в полсекунды. Полсекунды я себе позволю. Больше не дам.

Скорость есть. Высота есть. Машина идёт.

Разбираться будем на земле.

Слева, впереди и ниже, в самом краю зрения, лицо над картой. Молодое лицо, склонённое, и рука с карандашом.

— Литвинов, — говорю я.

Фамилия вышла из меня горлом, сама. Я её не выбирал и не вспоминал, она уже лежала во мне готовая, вместе с картой, карандашом и словом «штурман». Что он штурман. Что карта у него вместо местности. Что зовут его Аркашей и что ладонь он кладёт на бумагу и разглаживает ту, когда слушает. Я знаю про него это так, как знают собственный адрес, и я не понимаю, откуда я это знаю.

Что у него в голове сейчас, я не знаю тоже. Ни откуда он, ни есть ли у него кто дома. Мне выдали его имя и его работу, и на этом выдача закончилась.

Хватит и этого. Работаем.

— Литвинов, ориентир!

— По линейке, Пашка, левее, — говорит он негромко и глуховато, и карандаш у него замирает над бумагой. — Вот тут. Держи левее, дальше река.

Я держу левее.

— Слышу! — режет в наушнике другой голос, быстрый, речной, с мягким круглым «о». — Слышу, немец в хвосте!

Тимка.

Имя приходит вместе с голосом, готовое, и работа его приходит следом: этот держит эфир. Я беру и то, и другое и пользуюсь ими, как своими.

Я тянусь к виску, нащупываю ремешок шлемофона и вдавливаю наушник плотнее.

Потом левая рука уходит куда-то вниз и влево, к борту, и я её останавливаю на полпути. Я не знаю, куда она пошла. Я не знаю, что там стоит, как оно называется и что делает, рука знает, а я нет, и если я дам ей дойти, то через секунду в этой машине что-то изменится без моего решения.

Я возвращаю руку на место.

Так и будем: они ведут, я решаю. Другого договора у нас с этим телом не выйдет.

— Тимка, говори коротко. Говори живо, я тебя слышу.

— Слышу тебя, Пашка, эфир живой!

— Держи волну, командир! — приходит третий голос, южный, с растянутыми гласными, и в нём столько злости, что она идёт впереди слов. — Дай мне сектор!

Федя. Федя Костыль. Хромой. Про его ногу я знаю так же твёрдо, как про свою поясницу на четвёртом часу, и я эту ногу сейчас чувствую отдельным маленьким знанием, лежащим во мне без всякого повода.

Стрелку нужен сектор.

Какой именно, не знаю. Там, где во мне лежит его нога и его прозвище, про оружие пусто, ни цифры, ни картинки, ни одного движения в руках. Значит, пусть говорит сам, а я дам ему машину.

Руки сами тянут вправо и вниз. Я не мешаю им повернуть, но линию выбираю сам. Это странная работа. Как ехать в чужой машине, где педали стоят по-другому, а ноги уже помнят их сами. Два мотора дрожат сквозь корпус, и по этой дрожи я слушаю, сколько мне ещё дадут.

Процедуры я не знаю. У меня перед глазами компас, высотомер, скорость, горизонт и больше ничего, что я мог бы назвать. Как тут воюют, чему их учили и что у них считается правильным, мне тоже никто не подскажет.

Ладно. Значит, работаем на том, что видно, и на тех, кто отвечает.

Земля внизу. Значит, снизу к нам не полезут.

Работаем.

Я веду машину вниз, к реке, которую обещал Литвинов. Зелень поднимается ближе, отдельные макушки бегут под нами быстро и мелко, и от этой скорости у меня внутри что-то давнее и радостное шевелится, и я его давлю, потому что радоваться будем на земле.

Объяснять некому и некогда.

Внутри у меня сидит человек пятидесяти пяти лет, и он сейчас может сказать в эфир три слова про себя, и после этих трёх слов у экипажа не станет командира. Останется чужой мужик в теле их Пашки, и они будут слушать не приказ, а сумасшедшего.

Молчу. Веду.

Планшет у меня на колене. Жёсткая доска в ремешке, сверху прозрачное окно, под окном сложенная карта, и угол этого окна отошёл и цепляет мне ноготь. Планшет мелко ходит по колену от моторной дрожи. Я прижимаю его большим пальцем к ноге и веду.

Под прозрачным окном видно край карты, и по этому краю идут пометки. Цифры, стрелка, время. Почерк крупный, твёрдый, буквы валятся влево, и писал их не я. Писал их парень, у которого сейчас мои руки и обкусанный ноготь на большом пальце.

Я про него ничего не знаю. Я сижу внутри него, веду его машину и командую его людьми, а он мне про себя не сказал ни слова.

Сейчас не знаю, значит, сейчас и не нужно знать.

— Пашка, левее! — Литвинов разглаживает карту ладонью, когда слушает. — Река под нами.

— Есть левее.

Река входит в стекло снизу — широкая, тусклая, вся в мелкой ряби от ветра — и уходит под нас, и по ней бежит наша тень. Тень маленькая. Тень чужая. Я смотрю на неё полсекунды и возвращаюсь к горизонту.

Земля под нами идёт незнакомая до самой мелочи. Поля нарезаны узкими полосами, как их не режут в моём веке уже лет восемьдесят. Дорога вдоль реки пустая и белая от пыли, и по ней ползёт что-то маленькое, и это что-то запряжено. Ни столбов с проводами вдоль трассы, ни бетона, ни единой машины моего времени в целой видимой мне земле.

Год не спросишь у штурмана. Год спрашивают у бабы на дороге, а до бабы на дороге мне ещё надо долететь.

Я убираю глаза с земли и ставлю их обратно на горизонт.

— На хвосте держится! — кричит Тимка. — Пашка, он на хвосте держится!

— Слышу. Все живы? Голосом, по кругу.

— Живой!

— Живой, командир!

— Штурман живой, — говорит Литвинов так, будто отмечает точку на бумаге.

Трое. Со мной четверо. Считаю голоса и держу линию.

Немец идёт за нами. Я его не вижу, я его чувствую по тому, как орёт Федя, и по тому, что у меня между лопаток разливается холод.

— Командир, вправо, ныряй вправо! — рычит Федя. — Дай мне его!

Я давлю правую педаль и валю управление вправо.

Небо снимается с места. Ремни ослабевают, меня выносит из сиденья и держит одними лямками, планшет сползает с колена, карандаш где-то впереди щёлкает по железу. Потом всё возвращается обратно с двойным весом и вжимает меня в спинку. Машина проседает, корпус скрипит, что-то за спиной у меня звенит, срываясь. Горизонт уходит мне за левое плечо и пропадает. Зелень внизу становится стеной, и в этой стене на секунду, на одну секунду, в мой правый край выходит чужой самолёт.

Я его вижу целиком. Серо-зелёный, с жёлтым носом, близко, так близко, что видно рябь на его крыле.

Он не мечется. Держит линию и медленно забирает расстояние. Спокоен, гад.

Так заходят, когда уверены, что добьют. Почерк у машины ленивый и хозяйский, и мне этого почерка хватает, потому что читаю я железо, а не голову.

Там сидит такой же человек. Руки на управлении, ноги на педалях.

Сейчас моё решение отнимет у него жизнь.

Воздух у меня не выходит. Я впиваюсь ладонями в управление, чувствую под ними каждую дрожь корпуса и не даю машине выскочить из линии.

Держу, пока Феде не хватит времени.

И Федя работает.

Он бьёт где-то за моей спиной, коротко, потом длиннее, и каждый его заход приходит ко мне через железо. Корпус вздрагивает мелкой злой дрожью, отдача идёт по всему набору и достаёт до моих ладоней через управление. Между заходами он молчит, и в это молчание я слышу, как по полу катится и звенит что-то пустое. Кабину затягивает своей гарью, кислой и сухой, она садится мне на язык, и я дышу ею и держу.

— Держи, командир, держи! — орёт Федя между заходами, и голос у него садится на хрип. — Не ворочай!

Я не ворочаю.

Тело просит уйти. Оно просит этого спиной, шеей, лопатками — всей своей молодой шкурой, которая сегодня умирать не собиралась. Я кладу на эту просьбу обе руки и держу линию, и мне кажется, что я держу её час.

Литвинов молчит над картой. Тимка молчит в эфире. Вся кабина сейчас работает на одного человека за моей спиной, и этого человека я в глаза не видел.

Чужой самолёт валится вниз с дымом и пропадает в зелени. Дым идёт за ним следом и тоже пропадает.

Руки у меня остались на управлении. Пальцы белеют, и я разжимаю их усилием, потому что руки должны быть живыми.

Правую ладонь я вытираю о колено. Она мокрая, ладонь узкая, пальцы длинные, на большом обкусан ноготь. Этой рукой я сейчас убил человека.

Убил и пойду дальше, потому что за спиной трое ещё дышат.

— Все живы?

— Живой! — Тимка вылетает в эфир сразу, будто ждал с ответом наготове.

— Живой, командир, снял ты его, снял! — Федя смеётся, и в этом смехе слышно, как у него ходит грудь.

— Штурман, живой, — говорит Литвинов.

Он там внизу шарит рукой у своей ноги, находит карандаш, обтирает его о колено и накрывает карту ладонью, разглаживая её от середины к краю, будто скатерть перед обедом. Только потом ведёт линию дальше. Карандаш опять шуршит по бумаге, и от этого звука в кабине делается на человека спокойнее.

Планшет мой лежит у левого борта, под ногой. Я нащупываю его носком, подтягиваю к себе, ловлю ладонью за угол, кладу обратно на колено и коленом же прижимаю, пока правая рука держит управление. Доска ходит и вырывается, я поддавливаю сильнее и зажимаю её краем между бедром и бортом.

Тут всё надо держать руками. Ладно, руки у меня есть.

Трое. Со мной четверо. Считаю их снова, потому что теперь этот счёт у меня будет каждый раз.

Мотор дрожит иначе.

В дрожи появился провал. Короткий, на полтакта, и он приходит опять, и с каждым разом делается длиннее.

Я слушаю корпус всем телом и не даю себе развернуть внутри ни одного лишнего слова. Ладони держат ручку и ловят в ней каждый рывок, ступни лежат на педалях и ждут увода, спина не выпускает меня из кресла. Так я слушал свои машины тридцать лет и эту буду слушать так же, хоть я и не знаю, как её зовут.

Удар приходит в ладони.

Он приходит через управление, тупой и короткий, а следом машину тащит вправо, и я упираюсь ногой и рукой, чтобы держать её прямо. Тащит вправо — значит, справа перестали тянуть.

Правый мотор подбит.

— Командир, мотор зацепило! — орёт Федя.

— Вижу.

Что именно его зацепило, я не знаю и знать не буду до земли. Знаю одно: держать её теперь придётся ногой, и нога у меня молодая, и это единственная хорошая новость за сегодня.

Справа дрожь рвётся провалами, всё длиннее и глубже, и в кабину протягивает горелым маслом, тяжёлым и сладким, и этот запах садится поверх гари. Я добавляю ногу и держу её, пока машину не выравнивает, ищу то положение, в котором она идёт прямо. Оно неудобное. Оно всё время уползает, и я его всё время нахожу заново, и через минуту у меня начинает гореть бедро.

Гори. Через час будет хуже, и что тогда, я решу через час.

— Слышу, в хвосте опять! — кричит Тимка. — Пашка, их двое, они опять в хвосте!

Двое.

Холод между лопаток становится льдом и растекается вниз, до самого ремня.

Литвинов ведёт карандашом по карте, и я слышу, как карандаш царапает бумагу, и это единственный спокойный звук в мире. Он там работает. Он не спрашивает меня, что дальше. Он ведёт свою линию и ждёт, когда я скажу.

Значит, скажу.

— Держим курс, — говорю я и выговариваю каждое слово отдельно, чтобы они услышали порядок, а не то, что делается у меня между лопаток. — Литвинов, ориентир дальше. Тимка, слушай хвост. Федя, готовь сектор.

— По линейке, Пашка, — отзывается Литвинов. — Дам через минуту.

— Слушаю хвост!

— Готов, командир! — говорит Федя, и я слышу, как он там возится и устраивается поудобнее со своей ногой. — Мотор, зараза. Пашка, дотянет он у тебя?

— Дотянет, — отвечаю сразу, пока Тимка не услышал, как мотор проваливается у меня под ногой.

Дотянет, потому что другого мотора у меня для них нет. Он трясётся под правой рукой всё злее, провал в его дрожи растягивается, и машина уходит вправо каждый раз, как я ослабляю ногу.

— Пашка, — говорит Тимка, и голос у него делается тише и моложе. — Пашка, а мы дойдём?

Вот оно. Каждый молодой спрашивает это, спрашивает быстро, будто вопрос можно обогнать.

— Слушай хвост, Тимка, — говорю я. — Мне без твоих ушей никак.

— Слушаю, — говорит он, и слышно, как он выпрямляется в своём углу.

Литвинов больше не спрашивает. Тимка отвечает сразу. Федя возится со своей ногой и своим сектором.

Я раздаю им задачи по одной и слушаю, отвечают ли. Пока отвечают, экипаж не рассыпается.

Машина тянет вправо. Я держу её ногой и рукой и чувствую, как под правым ботинком мелко бьётся живое железо.

Я уже умирал сегодня. Час назад или полчаса, не знаю. Помню светлую землю, которую я держал пустой обеими руками, и как она вставала мне навстречу. Сколько с тех пор прошло, мне тут никто не скажет, и часов я в этой коробке не ищу.

Значит, могу опять.

— Да ну нахрен, — говорю я в шлемофон. — Я сегодня НЕ УМРУ!

Глава 3





— Не каркай, командир! — орёт Федя мне в ухо. — Дай мне левый борт!

Машина уходит вправо.

Она делает это каждый раз, как я ослабляю ногу, но я не ослабляю, я держу педаль, и бедро у меня горит от колена до пояса. Ладонь ловит рывок в ручке. Ручка бьётся, будто в неё изнутри стучат кулаком, и я ловлю каждый удар и возвращаю машину на прямую.

Что у меня справа сдохло, я не знаю. Мне это железо чужое.

Знаю только, что оно тянет, и тянуть будет дальше.

— Слышу их! — Тимка вылетает в эфир быстро и высоко. — Пашка, держатся, оба держатся!

Двое на хвосте. Уйти от них скоростью мне нечем: скорость у меня теперь такая, какую даёт одна сторона, и никакие мои тридцать лет тут ничего не прибавят.

Значит, задача другая.

Задача не победить. Задача — привезти троих за моей спиной на землю живыми, и всё, что я делаю дальше, делается только под это.

Холод собирается у меня под ремнями, между лопаток и стоит там плотным пластом.

— Литвинов, — говорю я. — Ближайшее, куда можно сесть. Веди.

— Погоди, Пашка, — отвечает он глухо, и я слышу, как он разглаживает карту ладонью. — Секунду.

Карандаш царапает бумагу. Этот звук идёт ко мне сквозь моторную дрожь, тонкий и упрямый, и я за него держусь не хуже, чем за ручку.

— Тимка, работай ушами. Мне сзади не видно.

— Слушаю!

— Федя, я тебя услышал. Скажешь, когда надо.

— Скажу, командир!

Левая рука у меня уходит вниз и влево, к борту.

Она уходит сама, быстро, коротко, как ходит рука к выключателю в своей квартире. Я её ловлю на середине пути и возвращаю на управление, и у меня внутри всё сжимается.

Я не знаю, куда она тянется. Тело знает, я нет, и, если однажды я замешкаюсь, оно сделает это без меня.

Держи ладони на ручке, Иванов. Тут тебе никто не подсказчик.

Дрожь меняет ритм.

Она идёт по корпусу, доходит до зубов, и в ней справа опять рвётся провал, длиннее прошлого. У меня нет ни одной цифры, которая сказала бы мне, сколько ещё осталось этой стороне жить. Есть стрелки, которые я вижу, и есть машина, которая отвечает рукам. Я смотрю на стрелки, потом на то, как она отзывается на движение, и складываю одно с другим.

Другой таблицы у меня нет.

Тело просит рвануть.

Оно просит бросить машину в любой резкий уход, куда угодно, лишь бы не сидеть вот так прямо, не ждать и не подставлять спину. Молодое, злое, оно хочет жить сию секунду и не желает знать ни про кого за перегородкой.

Я это желание глушу.

Рывок мне сейчас купит облегчение на два вдоха, а стоить будет троих. Я держу линию, которую даёт Литвинов, и больше ни на что права не имею.

— Командир, левее клади! — режет Федя, и голос у него садится. — Мне левый борт нужен, левый!

— Даю.

Я давлю левой ногой и веду ручку влево. Машина нехотя принимает крен, правый увод тут же тянет её обратно, и я дожимаю движение настолько, насколько она мне это позволит с одной тянущей стороной. Нос проваливается, я подбираю его рукой и ногой сразу.

Держать. Ручка тяжёлая, ладонь немеет — ещё немного.

Федя работает.

Отдача идёт по набору и достаёт до моих ладоней через управление, и корпус вздрагивает злой мелкой дрожью. Между отрезками он молчит, и в это молчание опять лезет запах гари, кислой и сухой, и садится мне на язык.

И вместе с этим запахом в меня входит зелень, в которой пропал самолёт с жёлтым носом.

Там был человек. Руки на управлении, ноги на педалях, живой человек, который утром что-то ел и о чём-то думал.

Пальцы у меня белеют на ручке.

Я разжимаю их, беру ручку живой рукой и ставлю глаза обратно в стекло.

Второго охотничьего захода не будет. Не потому, что я святой, а потому, что строить его не из чего: правый молчит, машина идёт на одном левом и всё время просит ногу, стрелка скорости сползает влево, и высота каждый раз даётся дороже прошлого. С таким железом не охотятся. С таким железом везут людей до земли.

— Всё, командир, отпускаю! — кричит Федя. — Уходи с этого!

Я закрываю поворот и вывожу нас на прямую. Машина выходит тяжело, с запозданием, и на выходе её опять валит вправо, и я вытягиваю её ногой, и нога отзывается тупой болью в подъёме стопы.

— Пашка, — Литвинов говорит так, будто ставит точку на карте. — Кагул. По линейке от реки, левее градусов на десять.

Кагул.

Слово падает в меня и не находит ничего. Ни картинки, ни поля, ни домика с полосатым конусом на крыше. Тело не подаёт ни звука. Тело отдало мне имена троих, ремешок шлемофона и руку, которая тянется к борту, а про Кагул оно мне ничего не должно.

Ладно. Значит, Кагул — это то, что знает Аркаша.

Аркаша. Имя приходит само, и я его беру.

— Взял, — говорю я и прижимаю ручку к ладони, чтобы она не ушла вправо. — Веди по линейке.

Нога у меня начинает дрожать от усилия. Не от страха, от работы: мышца держит одно положение слишком долго и трясётся, как трясётся рука под чужой тяжестью. Я перехватываю усилие, переношу его выше, в бедро, и держу дальше.

Экипажу про эту дрожь знать не стоит.

— Держатся! — говорит Тимка. — Пашка, они сзади висят, не подходят близко.

— Понял. Говори всё, что видишь.

— Один повыше идёт, второй пониже! Пашка, они как шли, так и идут!

Он говорит. Он приносит мне хвост кусками, только то, что видит и слышит, без единого слова от себя, и я его за это уважаю больше, чем он поймёт.

Кабина работает.

Литвинов ведёт нас по своей линейке. Карандаш ползёт по синей речной нитке, линейка упирается в сгиб карты, и он прижимает её большим пальцем. Тимка держит эфир и говорит мне про мою спину. Федя внизу устраивается со своим коленом и ждёт своего угла. Три работы, три голоса, и у каждого своя волна, и я их не подменяю. Подменить не смогу, а делают они это лучше меня.

Мне страшно от того, до какой степени я от них завишу.

Я про этих людей знаю имя, роль и по одной привычке. Больше ничего. И вот на этом обрывке я сейчас сижу, как на льдине, и веду машину туда, куда мне сказал человек, чью фамилию у меня выдало горло вперёд головы.

Значит, доверяем. Другого варианта нет, а этот хотя бы работает.

— Пашка, левее держи, — говорит Литвинов. — Держи по линейке.

— Держу.

Правый увод усиливается.

Он усиливается не рывком, а как будто кто-то там, справа, медленно наваливается на машину плечом и давит, давит всё сильнее. Я добавляю ногу. Ноги уже не хватает. Я добавляю руку и веду с перекосом, и запястье у меня начинает ныть, тупо и ровно, от кисти к локтю, и я эту ноющую руку перехватываю удобнее и не отпускаю.

Стрелка высоты ползёт вниз, и я на неё уже не влияю.

Я мог бы бороться за каждый метр, тянуть, вылизывать, выкраивать, я это умею, мне за это тридцать лет платили зарплату.

Здесь тянуть нечем.

Значит, отдаём высоту. Отдаём честно и понемногу и меняем её на то, чтобы машина слушалась рук до самой земли.

— Тимка, что там?

— Висят! Пашка, висят они, оба!

Висят. Ждут, когда мы начнём падать сами.

Меня от этой мысли передёргивает под ремнями, и я слышу собственное дыхание в шлемофоне, короткое и частое. Слышу и выравниваю. Люди в эфире не должны получить моё дыхание.

— Литвинов, далеко?

— Ведёт линейка, — отвечает он. — Скоро.

Он не говорит мне ни минут, ни расстояния, и я не спрашиваю. Он мне даст землю, а сколько до неё, у него написано карандашом на бумаге, а у меня — в правой ноге, и обе эти меры сейчас честнее любой цифры.

— Командир! — Федя. — Дай мне левый ещё раз, коротко!

— Даю коротко.

Я коротко кладу машину влево и держу, пока отдача не пробежит в ладони, и по полу опять катится и звенит что-то пустое.

— Хорош! — говорит Федя. — Отвернули они, командир, отвернули!

— Тимка?

— Отошли, Пашка! Отошли, но не ушли!

Отошли, но не ушли. Значит, стрелять по нам без нужды они не станут, им дешевле подождать, пока правая сторона доест сама себя.

Я выравниваю машину и веду её вниз, и она идёт вниз охотнее, чем прямо, и в этом нет ничего хорошего.

Земля поднимается.

Она поднимается не как в глиссаде, а как поднимается вода к тонущему: неотвратимо с той стороны, где ты уже ничего не можешь. Под нами идут поля, идёт кустарник, идёт что-то серое и плоское, вода или мокрый луг — и всё это идёт мимо быстро, быстрее, чем мне сейчас удобно.

Работай, Иванов. Смотри, куда он тебя ведёт.

— Вот, — говорит Литвинов. — Пашка, вот она. Прямо и чуть левее.

Я вижу поле.

Оно лежит впереди широкой рыжеватой плешью, притоптанное, с примятой травой по краям, и по нему тянется полоса, накатанная колёсами до серого. По краю поля стоят машины и палатки, и от них к полосе бегут люди, мелкие отсюда, как мошки.

Полоса короткая.

Я смотрю на неё, и у меня сохнет во рту до самого горла.

Она короткая для этой туши, для её веса и для правого увода, который потащит нас с полосы на пробеге.

Эта — короткая, а другой у меня нет.

Слева от полосы, ближе к краю, лежат штабеля. Плоские, тёмные, сложенные в стопки, и рядом с ними стоят люди, и что-то длинное они там тянут волоком, и железо на солнце вспыхивает. Стройка. Кладут они там что-то или готовят класть, и это железо ляжет когда-нибудь и станет твёрдой землёй для чьей-нибудь другой машины.

Не для моей.

Я снимаю с них глаза и ставлю обратно на накатанную серую линию.

Один заход.

Не два, не круг, не «уйдём и попробуем ещё». С этой стороной круга у меня нет: если я потяну на второй, машина ляжет по дороге, и лягут в ней трое живых, которые сейчас работают и верят, что командир знает, что делает.

Командир не знает. Командир выбирает.

— Мужики, — говорю я в шлемофон, и голос выходит ровный, потому что я его таким сделал. — Садимся. Заход один. Держитесь крепче.

— Понял, Пашка, — говорит Литвинов.

— Есть! — говорит Тимка.

— Давай, командир, — говорит Федя. — Только не в кусты.

— Постараюсь.

Мотор рвёт ритм. Провал приходит длинный, машина клюёт вправо всем телом, и я ловлю её обеими руками и ногой и вытягиваю обратно.

Из-под правого борта в кабину протягивает горелым маслом, тяжёлым и сладким, и этот запах садится поверх гари, и его я уже не выветрю ничем.

— Тимка, хвост?

— Есть хвост! Пашка, они сзади, они всё ещё сзади!

— Слушай их до земли. До самой земли слушай.

— Слушаю!

Ремни впиваются в плечи. Я подтягиваю их до боли, до хруста в ключицах, и от этой боли в голове делается яснее.

Полоса растёт в стекле.

Теперь страшно не выбрать. Теперь страшно выполнить: я выбрал эту серую линию, я иду на неё, и всё зависит от того, как чужие молодые руки сделают то, что мои старые делали три тысячи раз.

Держи направление, Иванов. Большего от тебя не требуется.

Земля лезет в стекло, и отвести от неё глаза уже нельзя.

Я держу линию, машина тянет вправо, я не спорю с ней, отдаю ей ногу и оставляю этот перекос до земли, и рыжая плешь становится травой, комьями, колеёй, и в стекле уже видно, как под нами бежит вытоптанная земля с чёрными пятнами масла.

Касание приходит снизу и бьёт вверх, в позвоночник.

Оно проходит по мне снизу доверху, через кресло, через ремни, через ладони, и в голове коротко темнеет. Машина подпрыгивает, ловит землю снова, и её тут же тащит вправо, сильно, всерьёз, и я вбиваю ногу в педаль до упора и держу.

Не отдам.

Грунт идёт под нами с грохотом. Он бьёт в машину снизу частыми злыми ударами, и всё в кабине трясётся: планшет, стёкла приборов, мои зубы. Ладони скользят от пота, я перехватываю ручку, вытираю правую о колено и опять беру. Меня кидает вперёд и вбок, ремни ловят, и висок обо что-то жёстко чиркает.

Тепло идёт по брови и заливает правый глаз.

Ладно. Один глаз есть, и хватит.

— Держись! — ору я в шлемофон. — Держись, мужики!

Машину тащит вправо, и я держу её ногой, и у меня ногу сводит судорогой от пятки до бедра, и я держу через судорогу, потому что, если сейчас отпустить, мы уйдём с накатанной полосы туда, где земля мягкая и где нас поставит на нос.

Ход не умирает. Ход умирает медленно, толчок за толчком, и каждый я считаю как выигранное время.

Кусты слева. Пусть остаются слева.

Ещё толчок. Ещё. Земля под нами делается тише.

Машина встаёт.

Она встаёт не сразу, а как встаёт тяжёлая телега: качнулась последний раз, скрипнула и села на своё. Дрожь уходит из корпуса. Моторы кончаются, и вместо них в мире остаются звон в ушах и чей-то кашель за перегородкой.

Тишина.

В ушах звенит. Корпус молчит. Я ещё не знаю, кто из нас цел.

Руки у меня не разжимаются.

Я смотрю на них: белые чужие пальцы на ручке, узкие запястья, обкусанный ноготь. Я разжимаю их по одному, помогая себе другой рукой, и они сходят с ручки медленно, как сходит судорога.

Считать. Пока каждый не назовёт себя голосом, я из кресла не выйду.

— Все живы? Голосом.

— Живой, — говорит Литвинов, и слышно, как он там складывает карту, и складывает он её аккуратно, по сгибам, будто дома скатерть после ужина.

— Живой я, Пашка! — Тимка тараторит, и голос у него скачет вверх. — Живой, живой, слышу тебя!

— Костенко живой, — говорит Федя снизу, и в голосе у него хрип и злоба. — Нога только, зараза, а так живой.

Трое. Со мной четверо.

Вот теперь можно.

Я откидываюсь в кресле, и кровь из брови течёт мне по щеке, и я вытираю её тыльной стороной ладони и размазываю, и рука делается красной с чёрным, потому что рука в гари.

Снаружи по обшивке бьют ладонью.

Люди. Я слышу шаги по земле, слышу голоса, слышу, как кто-то бежит и кричит короткое, и мир, который весь этот полёт состоял из четверых, вдруг делается больше и шумнее.

Я отстёгиваю ремни, упираюсь ладонью в борт и вытягиваю из кабины сначала больную ногу, потом себя.

Тело слушается плохо. Оно должно бы прыгнуть, а ставит ноги по одной и опускается на землю, как старик с автобусной подножки.

Справа по краю поля палатки и машины, слева в двух шагах начинается кустарник, за хвостом уже сбегаются люди. Земля под подошвами твёрдая, вытоптанная, тёплая. Пахнет пылью, травой и бензином.

Правая нога держит через силу. Она вся стеклянная от пятки до бедра, и я стою на ней и жду, когда пройдёт.

К машине идёт человек.

Коренастый, в промасленной гимнастёрке без пояса, в круглых очках, и очки у него сидят криво. Он идёт к правому мотору сразу, минуя меня, и на ходу вытирает руки о тряпку, и тряпка у него чернее гимнастёрки.

— Погоди-ка, — говорит он вверх, в железо. — Погоди-ка, милая.

Семён Иваныч.

Имя приходит ко мне готовым, вместе с этими очками и этим «погоди-ка», и я его беру и молчу.

Он лезет к мотору. За ним подходит второй, крупный, сутулый, с тёмными усами, и становится рядом, и оба смотрят вверх, и оба сейчас слушают железо, каждый по-своему.

— Слушай сюда, Иваныч, — басит усатый. — Он на пробеге как шёл?

— Тянуло вправо, — говорю я. — Всю дорогу тянуло. Дрожь справа с провалами. Больше ничего не скажу.

— И не говори, — отвечает Семён Иваныч, не оборачиваясь. — Сами посмотрим.

Я и не собираюсь говорить. Я в этом железе не понимаю ничего, и придумывать им причину, чтобы командир выглядел умнее, я не стану. Их машина, их руки, их работа.

Васька.

Имя усатого приходит следом, и приходит с довеском — с чужой ухмылкой, которая внутри меня отзывается чем-то тёплым и старым. Васька Мотор. Плешаков.

Он кладёт ладонь на капот, гладит его, будто корову, и качает головой.

Я отхожу от машины на три шага и оборачиваюсь.

Она стоит косо на притоптанной земле, в пыли, и в боку у неё дыры. Их много. Я их только сейчас вижу — рваные, светлые по краям, и в одном месте металл отогнут наружу лепестком, и лепесток этот блестит на солнце.

Мы на этом сидели все вместе, все четверо.

Экипаж собирается около хвоста. Литвинов держит под мышкой планшет с картой и щурится на солнце, и лицо у него молодое, обыкновенное, с красной полосой от шлемофона поперёк лба. Тимка стоит рядом и говорит, говорит, и руки у него ходят, и его никто не слушает. Федя опирается о железо и разминает ногу, наступая на неё осторожно, как пробуют воду.

Они смотрят на меня.

Они смотрят так, как смотрят на своего командира, когда тот сел с молчащей стороной и всех привёз, и я вижу, что сейчас кто-то из них скажет мне что-то хорошее, и мне это хорошее принимать нельзя, потому что оно адресовано не мне.

И ещё они сейчас начнут говорить со мной как с человеком, которого знают всю жизнь.

Про общее. Про вчерашнее. Про кого-то по прозвищу, про чью-то посылку из дома, про то, что было утром на построении.

Три вопроса, и я поплыву.

Правду им говорить нельзя.

Скажу правду, меня унесут к врачу или подальше. А их оставлю без командира.

И про то, что будет дальше, я тоже молчу. Даже если это всё сон, который снится мне под наркозом на каком-нибудь столе, молчу. Слово про будущее стоит дороже, чем моя голова.

Значит, будет так.

Я вытираю кровь со лба, чтобы им было видно бровь, и говорю:

— Мужики, я, по-моему, головой ударился, вообще не помню, кто вы.

Тишина.

Тимка перестаёт болтать на середине слова. Федя выпрямляется у железа. Литвинов медленно опускает планшет.

— Пашка, — говорит Тимка. — Пашка, ты чего?

— Того, — говорю я и не отвожу глаз. — Помню, что вёл. Помню, что садились. Кто вы, не помню. Имена по кускам, и всё.

Стыдно.

Стыдно так, как мне не было со школы, потому что я вру трём людям, которые только что отдали мне свои жизни в руки и не спорили ни секунды.

Ладно. Стыд — это дёшево. Дороже были бы врач и место командира без командира.

— Головой, значит, — говорит Федя и трогает своё колено. — Ну, головой оно бывает. У нас в посёлке мужик с баркаса упал, так неделю жену тёщей звал.

— Аркадий он, — говорит Тимка быстро и показывает на штурмана. — Литвинов Аркадий Михалыч. А я Тимка, Журавлёв, радист твой. А это Федя, Костенко Фёдор Данилыч. Костыль он.

— Сам ты костыль, — говорит Федя.

— Запомнил, — говорю я. — Аркадий. Тимка. Фёдор Данилыч.

— Федя, — говорит Федя.

— Федя.

Литвинов молчит и смотрит на меня, и на лице у него ничего не написано, и от этого мне неспокойнее, чем от Тимкиной трескотни.

К нам идёт женщина.

Крепкая в плечах, светлые волосы убраны под косынку, в руках холщовая сумка. Она подходит, ставит сумку на землю, берёт меня за подбородок и поворачивает мою голову к свету, и пальцы у неё сухие и сильные.

— Не дёргайтесь.

— Не дёргаюсь.

Она смотрит на бровь. Потом двумя пальцами разводит мне веки и заглядывает в глаза, поочерёдно, и лицо у неё при этом такое, будто она читает мелкий шрифт.

— Тошнит?

— Нет.

— Двоится?

— Нет.

— Голову ударили?

— Ударил, — говорю я. — Хорошо ударил.

— Сядьте.

Я сажусь на землю, потому что стоять мне и правда надоело, и она достаёт из сумки бутыль и вату.

— Лида, — говорит она, не поднимая головы. — Ковалёва. Раз уж вы никого не помните.

— Лида, — повторяю я.

Жжёт. Жжёт крепко, я держу лицо ровно и не морщусь, и она это замечает и хмыкает себе под нос.

За спиной у меня Семён Иваныч говорит железу «погоди-ка» и стучит по нему костяшками, а Васька Мотор отвечает ему басом, и слов я не разбираю. Машину они уже забрали себе. Правильно. Теперь это их беда, а не моя.

— Крови много, а само по себе пустяк, — говорит Лида. — Голову вашу смотреть буду отдельно и не здесь.

— Смотрите.

Пусть смотрит. В голову ей всё равно не заглянуть.

Она поднимает глаза, и я вижу, что глаза у неё серые и внимательные и что смотрит она не на бровь, а на меня целиком.

— Вы правда своих не узнаёте?

— Обрывками, — говорю я и не вру ни одним словом.

Через её плечо я вижу, что от края поля к нам идёт человек.

Высокий и сухой, идёт быстро, руки держит по-хозяйски, и по тому, как сворачивает с его пути моторист с ведром, понятно, кто это.

Экипаж выпрямляется. Тимка замолкает. Федя перестаёт разминать ногу и встаёт прямо, и в этом «прямо» вся его хромота видна насквозь.

Я ставлю ладонь на колено, вытягиваю больную ногу и всё-таки поднимаюсь ему навстречу.

В глазу мутно от воды и крови, нога держит еле-еле, но я стою, потому что от командира за гарью не спрячешься.

Он подходит и останавливается напротив. Узкое лицо под выгоревшей фуражкой, губы сжаты в белую линию, и смотрит он сначала на мою кровь, потом на экипаж.

Гордеев.

Глава 4





— Ясно, — говорит Гордеев.

Он говорит это так, будто закрывает за собой дверь, и я понимаю, что «ясно» у него не значит «Понял тебя, отдыхай». Оно значит, что он услышал и теперь будет проверять сам.

— Летать можешь?

Вот он, вопрос. Не «Что с тобой?», не «Как это случилось?», не «Кто у тебя дома?». Ему нужно знать, годен я или нет, и всё остальное во мне его сегодня не касается.

Я стою перед ним на правой ноге, стеклянной от боли, и держусь.

— Могу.

— Машину помнишь?

— Машину помню. Как вёл, помню. Как садился, помню.

— Людей своих?

Он спрашивает ровно, без нажима и смотрит мне в глаза, а не на бровь, и я понимаю, что вот сейчас соврать было бы легко и вот сейчас соврать нельзя.

Соврёшь широко — придётся врать дальше, и врать при них, и они это увидят, и тогда я потеряю не лицо, а троих, которых час назад привёз.

— Голосами узнаю, — говорю я. — Кто чем занят, знаю. Имена приходят кусками. Лица не складываются.

Гордеев молчит.

Лицо у него узкое и сухое, губы сжаты, и прочесть по этому лицу нельзя ничего, и это, наверное, у них тут ценится.

Кровь на брови у меня подсыхает и стягивает кожу. Я стою и чувствую, как под подошвой правой ноги медленно расходится боль и как хочется перенести вес на левую, и не переношу, потому что перенести — значит показать, что меня можно отставить в сторону.

— Про личное меня не спрашивайте, — говорю я. — Не отвечу. И проверять меня личным не надо, товарищ капитан. Толку не будет.

Он коротко опускает подбородок, и по этому движению видно, что объясняться дальше он не станет.

— Ясно, — повторяет он. — Фельдшеру покажешься. Не сегодня к вечеру, а как она скажет.

— Покажусь.

— В себя придёшь — доложишь. Сколько надо, столько и дам. Только из работы не выпадай.

Он смотрит мимо меня, на моих, на Литвинова с планшетом и Тимку, который стоит слишком прямо, и на Федю, который держит ногу так, будто она чужая и мешает.

Литвинов при этом молчит.

Он молчит уже давно, с той минуты, как я сказал про голову. Тимка тогда бросился объяснять, Федя пошутил, а Литвинов только опустил планшет и с тех пор не сказал ни слова, и это молчание я сейчас слышу отчётливее, чем всё поле.

Просить его о чём-то я не буду. Он мне ничего не должен, и верить мне он не обязан.

— Экипаж цел? — говорит Гордеев. — Все на ногах?

— Все.

— Хорошо.

Он кивает себе, будто ставит отметку в невидимой ведомости, и на этом я для него закончен.

Гордеев разворачивается к машине. На ходу бросает мотористу с ведром что-то короткое, и тот вскидывает голову, отвечает и срывается с места, и ведро у него бьёт по ноге.

Колени отпускают меня сразу, как он отходит.

Я ловлю равновесие, перехватываю вес на левую и только тогда позволяю спине перестать быть прямой. Не от страха трясёт, а от того, что можно, наконец, не держать себя. Я стою и жду, пока это пройдёт, и оно проходит.

Гордеев мне «не поверил» и не «не проверил». Он меня отложил. Проверять он будет работой, а не расспросом, и это, если по-честному, самая мужская вещь, которую со мной сегодня сделали.

За спиной у меня стучат по железу.

Семён Иваныч сидит верхом на чём-то у правого мотора и уже раскрыл его, и внутри чернота и блеск, и он там ковыряется двумя пальцами и бормочет себе под нос своё «погодика». Васька Мотор стоит внизу, задрав голову, и слушает, как тот стучит.

Меня тянет туда.

Тянет по-хозяйски, тридцатью годами: подойти, спросить, что там, послушать вместе, кивнуть с умным видом. Я эту тягу останавливаю. Мне в этом железе не понять ничего, а стоять над душой у людей, которые работают, — только мешать.

Машина теперь их. Пусть смотрят.

Проходя, я задерживаю глаза на борту.

Тот самый отогнутый лепесток блестит на солнце, светлый по краю, вывернутый наружу. Я на него смотрю, и мне хочется, чтобы он что-нибудь значил. Чтобы вот в нём и была причина: тут вошло, там перебило, поэтому и встало.

Он ничего не значит. Он просто дыра, и таких на борту много.

Ещё во мне сидит звук.

Там, у нас под полом, всю дорогу каталось и звенело что-то пустое, и мне сейчас, вот прямо сейчас, до зуда хочется вернуться, влезть внутрь и найти эту железку. Найти, подержать в руке и решить, что она всё объясняет.

Не объяснит она ничего. Побрякушка — это побрякушка, а мотор — это мотор, и связывать их будет тот, кто в этом понимает.

Я иду мимо.

Иду по вытоптанной земле, мимо палаток, мимо машины с бочкой, мимо двоих, которые тянут за конец что-то длинное и тяжёлое к штабелям у края поля. Железо на солнце вспыхивает и слепит. Они работают, и вчера работали, и завтра будут, и то, что я тут сегодня свалился с неба и ничего про себя не знаю, их работы не отменяет.

Меня никто не ждёт. Мир занят.

Ноги идут сами.

Вот это отдельная штука, к которой я привыкаю тяжелее всего: я не знаю, куда иду, а ноги знают. Они несут меня от поля, вдоль колеи, потом сворачивают, и я иду за ними, как пассажир в собственном теле, и стараюсь по дороге запомнить путь.

Тело приводит меня к дому.

Обычный дом. По тому, как он поставлен, по крыльцу, по вытоптанной перед ним земле я понимаю: тут учили детей. Теперь тут живут лётчики, а дети где-то в другом месте, и об этом я думать не буду, потому что об этом сейчас думать нельзя.

Внутри пусто и тихо.

Тишина здесь хуже моторов. В ней слышно, как я не нахожу ни одного знакомого голоса.

Я иду по коридору, толкаю дверь слева и оказываюсь в комнате. Дверь выбрал не я, маршрут выбрали ноги, и мне остаётся запоминать каждый поворот, чтобы завтра пройти его самому.

Комната как комната. Я в неё не смотрю, потому что мне в ней ничего не скажут ни стены, ни окно, ни то, как тут стоят кровати. Мне скажут вещи, и я иду к ним.

Вещмешок.

Рука берёт его прежде, чем я решаю взять, и берёт правильно, за горловину, и я по этому движению понимаю, что руке он знаком до последнего узла. Она знает, где у него завязка, знает, с какой стороны браться, знает, что он полупустой.

Я держу его и стою.

Автоматизм — это не воспоминание. Я это себе повторяю, потому что мне очень хочется поверить, будто вместе с рукой ко мне придёт и остальное: где он это купил, кто ему завязку перешивал, что он в него совал утром. Ничего этого нет. Есть только правильное движение пальцев.

Ладно. Начнём с того, что есть.

Я развязываю его и заглядываю.

Внутри лежит чужая жизнь. Простая, скудная, мужская: тряпица, свёрток, кружка. Есть ещё ремешок, и я его узнаю позже, потому что сейчас он мне ничего не отдаёт.

Я разворачиваю тряпицу.

Внутри обмылок мыла, истёртый до тонкой пластинки, и он завёрнут аккуратно, в два оборота, и завёрнут не для того, чтоб не потерялся, а для того, чтоб не крошился. Так берегут вещь, которую не всегда можно взять новую.

Я заворачиваю обратно теми же двумя оборотами.

Потом достаю кружку. Она мятая с одного бока, и вмятина такая, что палец в неё ложится сам, и мой палец в неё ложится сам.

Значит, он её так и держал.

У меня в горле встаёт комок, и я его сглатываю.

Он её так держал каждый день. Он пил из неё, обжигался, дул, ставил на что-нибудь и шёл дальше. Он был. Ходил по этому полу, приносил сюда вещмешок, сам его завязывал вот этим узлом, который я развязал одним движением.

Я не занял пустое место. Я вошёл в живого человека.

Кружку я ставлю обратно.

Не куда попало ставлю, а туда, где ей место, и место это опять показывает мне рука, а не голова, и я за рукой слежу и запоминаю.

Планшет лежит рядом.

Тот самый. Жёсткая доска в ремешке, прозрачное окно, отошедший угол, который цепляет ноготь. Я кладу на него ладонь, и большой палец сам находит этот угол и начинает его тереть, взад-вперёд, мелко.

Так делают, когда нервничают.

Я снимаю ладонь с доски и кладу планшет туда, откуда взял.

Я мог бы сейчас перерыть всё. Вытряхнуть мешок, выложить в ряд, посмотреть каждую бумажку, собрать себе биографию, как собирают личное дело, и завтра ходить и уверенно говорить людям то, что они хотят слышать.

Нет.

Бумаги я не трогаю. Стоит раз выложить перед собой чужую жизнь по порядку, и дальше ложь пойдёт легко, а мне сегодня и так пришлось соврать при трёх свидетелях.

Возьму то, что само даётся, и хватит.

Фотография лежит между тряпицей и стенкой мешка.

Я её вынимаю двумя пальцами, и меня накрывает прежде, чем я успеваю посмотреть.

Тепло. Оно поднимается изнутри, из-под рёбер, тёплое и тесное, и оно уже здесь, а глаза ещё не разглядели. Так узнают своих. Так, когда ты подходишь к дому и видишь свет в своём окне, у тебя внутри что-то отвечает до всякой мысли.

Я смотрю.

Девушка. Молодая, стоит прямо, смотрит в объектив серьёзно, будто её попросили не улыбаться, и она не улыбается, а глаза всё равно смеются.

Имени нет.

Я жду его. Я стою и жду, как ждут, когда всплывёт фамилия знакомого, и знаю ведь, знаю, вот оно, на языке.

Ничего.

Тело отдало мне тепло и не отдало имени. Оно вообще, я заметил, отдаёт мне только то, чем работают руки и глотка: где взять ручку, как звать штурмана, куда ставить кружку. А имя этой девушки Пашка держал не в руках. Он его держал где-то там, куда мне ходу нет.

Ладно. Пусть будет без имени.

Я смотрю на неё дольше, чем нужно, и ловлю себя на этом, и не отвожу глаз.

Она смотрит на человека, которого больше нет. Она про это не знает.

Она может ждать от него нового письма. Если напишет, оно придёт уже мне.

Письмо лежит тут же.

Сложенное, потёртое по сгибам, разворачивавшееся много раз, и по одному тому, как оно затёрто, видно, что его читали не единожды и не дважды. Я беру его, и пальцы узнают бумагу и вспоминают, как её надо взять, чтобы не порвать по сгибу.

Почерк на нём мелкий, ровный, с наклоном, и это не тот почерк, который стоит на карте в планшете. Это её.

Я держу его в руке и не разворачиваю.

А хочется. Господи, как хочется. Там ведь всё: имя, город, чем живут, кем приходятся друг другу, было у них или не было, ждёт она или уже нет. Пяти минут хватит, чтобы вычитать имя, город и всё, чем они друг другу приходятся, и после этого мне будет легче врать. Вот поэтому я его и не разворачиваю.

Я кладу его обратно, туда же, между сгибом и фотографией, и рука делает это точно, потому что рука помнит, где оно лежало.

Вот и всё, что я себе позволю.

Из всего этого я знаю теперь только две вещи. Что у Пашки была девушка, которую он берёг. И что в мешке нет ничего из дома: ни материнской вязки, ни отцовской бритвы, ни одной вещи, которая приходит оттуда, где тебя ждут.

Может, он был один. Может, просто не носил дом с собой.

А если один — то теперь этот один я.

Меня прошибает холодом от макушки вниз.

Потому что это значит вот что. Значит, я ей должен. Не Пашка, которого нет, а я, который сидит в его теле, носит его вещмешок и командует его людьми. Она напишет — отвечать мне. Она приедет — выйти к ней мне. Она узнает, что он погиб, — а он не погиб, он, вот, сидит и держит её фотографию чужими глазами.

Я не знаю, что я ей скажу. Я не знаю даже, как её зовут.

Знаю только, что вычеркнуть её нельзя.

Уберу её — и от Пашки не останется ничего. Этого я не отдам.

Ладно.

Ладно, беру. Беру её вместе с его мешком, его планшетом, его кружкой с вмятиной под палец и его экипажем. Всё беру, что тут лежит: и людей, и долги, и то, чего я про эти долги не знаю.

Я завязываю мешок.

Пальцы вяжут узел сами, тем же движением, каким он вязал, и я на этот узел смотрю, и мне от него делается не жутко, а тихо.

За стеной по коридору идут.

— Пашка! — кричит Тимка ещё из-за двери. — Пашка, ты тут? Я тебе принёс!

Он влетает и держит в руках хлеб и котелок, и от котелка тянет варевом так, что у меня сразу набегает слюна, и я только сейчас понимаю, что не ел с прошлой жизни. Голод приходит грубо, как удар под дых.

За Тимкой в дверях появляется Федя, он идёт медленно и бережёт колено, а следом женщина в переднике, немолодая, с красными руками, и она несёт ещё один котелок, ставит его молча, молча же смотрит на мою бровь и качает головой.

— Ешь, — говорит она. — Тётя Нюра я. Тебе-то теперь всех заново.

— Заново, — говорю я и беру ложку.

Если они собрались рассказывать мне Пашку, придётся остаться за этим столом и слушать, сколько дадут.

— Ну и ешь.

И уходит, и вот эта её незатейливая забота бьёт по мне сильнее, чем всё сегодняшнее.

— Ну, Пашка. Заново давай, — говорит Тимка и садится напротив, и локти ставит так, будто боится, что я встану и уйду. — Я Тимка, Журавлёв. Радист я твой, хвост тебе слушаю. Мы с тобой третий месяц летаем.

— Третий месяц, — повторяю я и держу это во рту, как держат чужое слово. — И я вас всё это время вожу?

— Возишь.

— Ничего, Пашка. Всё расскажем, поднимем тебя. Память вернётся, я про такое слышал, у нас в слободе один упал с сеновала, так неделю ходил как чужой, а потом всё вспомнил, всё до копейки.

— До копейки, — говорит Федя. — Он и долги вспомнил?

— Вспомнил.

— Вот и Пашка вспомнит. Ты, командир, ешь давай.

Я ем.

Хлеб ломается в пальцах тёплой мякотью. Я хватаю его слишком быстро, давлю коркой нёбо, обжигаю язык горячим глотком из котелка и заставляю себя жевать медленнее, потому что горло принимает еду рывками, будто оно тоже вспоминает работу.

Я ем хлеб в чужой комнате чужим ртом, и они сидят рядом и разговаривают надо мной, как разговаривают в больничной палате над своим, и всё это должно быть невыносимо, а оно не невыносимо. Оно тёплое.

И это тепло меня пугает.

Оно ведь не моё. Оно того парня, который вязал этот узел и тёр угол планшета. Я ЕГО сейчас ем вместе с хлебом и знаю, что беру не своё.

А не взять нельзя. Оттолкнёшь их — и останешься один среди чужих, и через неделю сорвёшься.

В дверях стоит Литвинов.

Он стоит и молчит, и планшет держит под мышкой, и смотрит не в глаза мне, а на мои руки, на пальцы, будто ждёт, что они сами найдут привычный край доски.

В этом молчании я не слышу ни зла, ни жалости. Только паузу. Он смотрит и пока ничего не говорит.

Он мне не поверил.

И это его право. Я бы на его месте тоже не поверил, и знаете что, я бы на его месте себя ещё и проверил разок-другой.

Я на него смотрю и ничего ему не говорю. Не оправдываюсь, не заглядываю в глаза, не прошу верить. Пусть смотрит, сколько ему надо.

— Аркадий, — говорю я. — Садись, тут на всех.

Он заходит и садится. И не говорит ничего. И ест.

Потом в дверь заглядывает Лида.

— Голову смотреть буду завтра, — говорит она. — Придёте сами. И спать сегодня ложитесь, а не сидите до полуночи.

— Приду, — говорю я.

Она глядит на меня ещё секунду, тем самым своим взглядом, каким смотрят не на бровь, а на всего человека, и уходит.

Все расходятся один за другим.

Тимка уносит пустой котелок и на пороге ещё оборачивается, говорит, что завтра расскажет всё с самого начала, кто у нас в эскадрилье кто. Федя стучит костяшками по косяку вместо прощания. Литвинов уходит последним и в дверях приостанавливается, будто хочет спросить, и не спрашивает, и уходит.

Тишина возвращается.

В комнате ещё держится запах горячего варева, на полу между койками остывает кружка, и я сижу над ней и слушаю, как за стеной живёт база. Где-то бьют по железу. Где-то заводят и глушат мотор. Кто-то смеётся во дворе, и смех этот молодой и совершенно обыкновенный.

Внутри у меня всплывает слово.

Не имя девушки, нет. Другое, короткое, чьё-то прозвище, и всплывает оно вместе с готовым чувством: этого можно попросить, этот не откажет. Кто он, где он, жив ли — не знаю. Просто прозвище и тёплая уверенность.

Я его придерживаю в себе и никому не говорю.

Такие обрывки будут теперь приходить, и каждый из них — ловушка. Скажешь вслух, назовёшь человека по прозвищу, а через минуту тебя спросят про него самое простое, и ты сядешь.

Я ставлю вещмешок к стене, туда, где рука его нашла.

Фотография и письмо лежат внутри, и я их не прячу глубже и не перекладываю. Пусть лежат, где лежали. Я к ним ещё вернусь, когда буду иметь право.

Сапоги я не снимаю.

Тридцать лет привычки: если тебя могут поднять, ты не раздеваешься. И тут, я так понимаю, поднять могут в любую минуту, и то, что мы сегодня сели с одной тянущей стороной, никому наверху не интересно.

Ложусь как есть, поверх, и закрываю глаза.

И сразу лезет то, о чём молчу.

Про сорок первый. Про то, что будет с этими островами, с этим полем, с этими штабелями железа, которые сейчас волокут двое во дворе. Я это знаю не как пророк, а как человек, который в школе учил и потом всю жизнь читал, и знание это лежит во мне мёртвым грузом, и рассказать его нельзя ни одному живому человеку.

Скажу. И я — враг, безумец или гадалка. Любой из трёх ярлыков дороже стоит, чем моя польза.

Значит, молчу. Даже если это сон и меня сейчас разбудят. Особенно если сон.

В комнате делается почти покойно.

Вот эти несколько минут, когда лежишь, ничего не решаешь, и тебе никто ничего не приказывает. Я такие минуты знаю. Их всегда мало, и они всегда кончаются одинаково.

За стеной кричат.

Кричат коротко, зло, и по этому крику весь дом снимается с места: топот, стук двери, чей-то мат, звон упавшего.

— Тревога! Тревога, все на выход!

Я стою на ногах.

Я не помню, как встал. Тело подняло себя само ещё до того, как я успел испугаться, и вот я уже стою посреди комнаты и держусь рукой за стену, и правая нога отзывается болью от пятки до бедра.

Голова у меня гудит, бровь дёргает, и всё это мне сейчас не поможет и не помешает, потому что спрашивать никто не станет.

Я выхожу.

Коридор узкий, я задеваю плечами стены, кто-то впереди цепляет сапогом порог и матерится, дверь бьётся о косяк, и крик катится над головами и уходит на улицу.

Гордеев идёт навстречу, и он уже в шлемофоне, и лицо у него собранное и злое.

— Товарищ капитан! — кричит Тимка откуда-то сбоку, и голос у него срывается. — Мы только прилетели!

Гордеев останавливается.

Он смотрит на Тимку, потом на меня, потом на Федю, который выбирается на своей ноге, и он не орёт на них и не стыдит их, и за это я ему в эту секунду благодарен.

Они правы, между прочим. Мы, правда, только прилетели. У людей предел, и предел этот честный, и он у них сейчас как раз.

— Люди на берегу, — говорит Гордеев. — Беженцы. И налёт.

— Мы только прилетели, — повторяет Тимка тише.

— Знаю.

Он поворачивается ко мне.

— Иванов. Ты у меня лучший. Сядете — тогда и отдохнёте, а сейчас снимать их с берега некому.

Лучший.

Он это говорит про парня, чью кружку я полчаса назад держал в руках, и про меня, который не знает ни этих машин, ни этого неба, ни даже собственной фамилии наизусть.

Ладонь у меня сама сжимается, будто под ней ручка. Тринадцатого мне никто не даст, он стоит с раскрытым мотором и двумя людьми внутри, и что с ним и когда, я не знаю и спрашивать не буду.

Отказаться? Я мог бы. У меня кровь на брови, нога стеклянная, и никто слова не скажет.

Только там люди на берегу.

— Понял, — говорю я.

И иду.

Глава 5



— Тринадцатый не пойдёт, — говорит Гордеев на ходу. — Возьмёшь соседнюю машину.

Мы идём к стоянке, и я иду быстрее, чем могу.

Правая нога отзывается на каждый шаг от пятки до бедра, бровь тянет коркой, в мышцах ещё лежит тот вылет, с которого я пришёл час назад. Ничего этого никто не отменял. Просто теперь оно идёт со мной.

Наш борт стоит там, где мы его оставили, и правый мотор у него раскрыт.

Семён Иваныч внутри, по локоть. Васька Мотор снизу подаёт ему что-то и придерживает. Они работают молча и быстро, и по тому, как они работают, сразу видно: машина никуда не идёт.

Меня всё равно тянет к ней.

Тянет по-свойски: сегодня я привёз на ней троих живыми, я знаю, как она уходит вправо и сколько ей нужно ноги. Мне бы её сейчас, и я бы знал, чего от неё ждать.

— Иваныч, — говорю я.

Он оборачивается, смотрит поверх круглых очков и качает головой. Один раз. Ни срока, ни объяснения, ни утешения.

— Понял, — говорю я.

И иду дальше, потому что стоять и выпрашивать у человека то, чего у него нет, — это самое пустое, что можно делать перед вылетом. Он не знает, что там. Он туда за этим и полез. Пока он не знает, машина не летает, и правильно.

Соседняя стоит через две стоянки.

С виду такая же. Тот же тип, те же два мотора, тот же горб фюзеляжа, и от этого сходства у меня внутри сразу поднимается ложное спокойствие: мол, разберусь, знаю.

Не знаю.

Я эти машины видел одним днём и одним полётом, и то, что я знаю, знает не голова, а руки. Руки знают тип. Тип — это где сидеть, за что браться, куда смотреть. А как эта конкретная берёт ногу, как у неё стоит нейтраль, врёт у неё стрелка или не врёт — этого мне не скажет ни моё тело, ни мои тридцать лет.

Возле неё стоит моторист с ведром.

Тот самый, которого Гордеев днём послал куда-то бегом. Ведро он поставил на землю, руки у него по локоть тёмные, и он всё вытирает их о штаны, хотя от этого они чище не делаются.

— Машина выпущена, — говорит он. — Моторы опробованы. Бомб нет, боекомплект по точкам есть, горючего вам на эту работу с запасом.

— Понял.

Он молчит. Он больше ничего не скажет и правильно сделает: он мне отдал то, за что отвечает, и ни словом больше. Я в своей жизни много раз принимал машину от таких вот людей и знаю цену этой короткой передачи. Она значит: на земле сделано то, что положено. Как оно поведёт себя в воздухе, ему знать неоткуда, и обещать он не станет.

— Иванов! — Гордеев останавливается у крыла. — Берег. Люди у самой воды, там баркас с мотором. Пара ходит над ними кругами и бьёт по второму заходу. Твоё дело — держать их от лодки, пока она не отойдёт.

— Понял.

— Не обещаю, что они на тебя польстятся.

— Я тоже не обещаю.

Он смотрит на меня секунду и уходит.

Вот это мне в нём и нравится. Сказал, что делать. Про остальное предупредил. Хватит с него.

Мерить я её буду лодкой.

Экипаж уже у машины.

Литвинов идёт с планшетом под мышкой и на ходу разворачивает карту, Тимка тащит что-то своё и говорит сам с собой, Федя переставляет ногу с той аккуратностью, с какой её переставляют, когда она болит и когда об этом говорить нельзя.

— Работаем как работали, — говорю я. — Аркадий, маршрут и берег на тебе. Тимка, эфир и хвост. Федя, твой сектор.

— Есть.

— Слышу.

— Понял, командир.

И ни один не спросил, почему мы идём на чужой.

Я обхожу машину.

Иду, как ходил всю жизнь, только теперь без листа и без фонарика, и смотрю на то, что вижу глазами. Стойки стоят. Резина не рваная, обжата без перекоса. Под мотором на земле тёмное пятно, я приседаю и трогаю пальцем: сухое, старое, вчерашнее или позавчерашнее, к сегодняшнему отношения не имеет. Дальше по борту иду медленнее: обшивка, заклёпочные швы, латка на две ладони со следами старого ремонта. Нигде ничего не висит, нигде ничего не хлопает на ветру.

Больше мне тут не дадут. Это малая проверка, и я это знаю: настоящую делают долго, руками, с человеком, который эту машину знает по имени. У меня нет ни времени, ни этого человека, а лодка внизу идёт с мели прямо сейчас.

Ладонью веду по борту.

Дюраль тёплый от солнца, шершавый там, где его латали, и заклёпки идут под пальцами частой строчкой, как шов на брезенте. Я довожу ладонь до хвоста и хлопаю по нему разок, как хлопают по крупу чужую лошадь, которую тебе дали на день.

Чужая. Пахнет так же, а всё равно чужая.

— Здравствуй, — говорю я ей вполголоса. — Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Давай без сюрпризов.

Залезаю.

Тело лезет ловчее, чем я думаю о том, куда ставить ногу, и правая нога тут же за это платит — я переношу вес на руки и подтягиваюсь плечами.

Кабина того же типа.

Всё на местах. Всё там, где рука ждёт, и рука тянется сама и находит, и я за ней слежу и не даю себе поверить, что это и есть знакомство. Пахнет иначе, чем у нас; тем же бензином и маслом, но с чужой примесью, махоркой и каким-то мылом, и по этому запаху я понимаю яснее всего, что тут сидел другой человек и сидел он тут долго.

Кресло под меня не подогнано.

Я устраиваюсь, ищу ту посадку, при которой видно и приборы, и то, что за стеклом, и на третий раз нахожу. Ремни затягиваю туго, до хруста в ключицах, потому что сегодня меня уже возило по этим ремням и я знаю, чем кончается слабина.

Беру управление и двигаю его.

Ход другой. Немного, самую малость, но другой: свободнее в одну сторону и туже в другую, и там, где на нашем было среднее, у этой чуть иначе. Я это запоминаю телом, как запоминают чужую ступеньку в подъезде.

Ставлю ноги на педали.

И правая сразу говорит мне всё, что я про неё уже знаю. Она держит, но держит хуже, чем утром. Нажать могу. Держать долго — вопрос.

Значит, считаем ногу частью машины. У этой машины есть слабая педаль, и с этим я сегодня работаю.

— Аркадий, дай направление, — говорю я. — Дальше по ходу поправишь.

— По линейке, — отвечает он глухо. — Возьмём на воду, дальше вдоль кромки. Скажу, когда доворачивать.

Он не спорит и не разговаривает со мной больше нужного. Он со мной работает. С той минуты, как я соврал ему в лицо, он мне ни одного слова лишнего не сказал, и всё, что говорит, — по делу и точно.

Пусть так. Пусть проверяет меня работой. Я на это согласен больше, чем на любые разговоры.

Моторы запускаются.

Дрожь идёт по корпусу, знакомая до костей и всё-таки чуть иная, и я эту разницу слушаю ладонями и подошвами и складываю в копилку.

У кромки полосы люди.

Двое или трое тянут то самое длинное железо в сторону, к штабелям, и им тяжело, и они торопятся, потому что мы уже под моторами и они это слышат. Один упирается спиной, другой перехватывает конец и роняет, и они поднимают его снова.

Мне надо разбегаться. Мне надо было разбегаться пять минут назад.

Жду.

Стою и жду, пока они уберут это с моей дороги, потому что задавить своих на разбеге ради чужих на берегу — это не работа, а бухгалтерия дурака.

Последний оттаскивает конец и машет рукой.

Иду на разбег.

Она берёт разбег не так, как наша. Вспоминаю телом. Тяжелее в начале, и хвост ведёт чуть влево, и я подхватываю ногой прежде, чем успеваю это решить, и подхватываю больной. Земля бьёт снизу, потом бить перестаёт.

Идём.

В наборе я даю малые движения и смотрю, что она на них отвечает.

Даю ручку — отвечает с запозданием, но честно. Даю ногу — идёт живее, чем я ждал, и я тут же убираю лишнее. Тело подсказывает мне привычную меру, и мера эта для другой машины, и я каждый раз ловлю себя за руку.

Это как писать чужой ручкой. Буквы те же самые, рука та же самая, а нажим не твой: где привык давить, тут расплывается, где привык вести легко, тут не пишет.

Ничего. Терпимо. Разница есть, но она в мою сторону: эта не тянет никуда сама.

— Тимка, эфир?

— Слышу, Пашка! Сзади чисто пока!

— Говори, если что.

— Скажу!

— Аркадий?

— Держи, как идёшь. Скоро вода.

Вода приходит под нас серой плоскостью с мелкой рябью.

Я смотрю на неё и ловлю себя на глупом: мне хочется узнать это место. Хочется, чтобы во мне всплыла карта, название, что-нибудь, что позволит мне сказать штурману: «Знаю, куда идём».

Пусто.

Про этот берег во мне нет ничего. Ни книжного, ни телесного. Меня туда ведёт молодой парень с карандашом, и это единственный источник, который у меня есть.

— Аркадий, далеко?

— Скоро. Держи по линейке.

Он лежит там впереди, разглаживает карту ладонью и работает, и я иду туда, куда он ведёт.

Кромка появляется слева.

Тонкая полоска, где серое сменяется бурым, и на ней что-то мелкое, шевелящееся, и от этого мелкого отходит на воду тёмная точка с длинным светлым следом за ней.

— Вот они, — говорит Литвинов. — Ниже возьми.

Я иду ниже.

Теперь видно.

Люди у самой воды, много, и они не стоят на месте, а перемещаются вдоль кромки, и это всё, что я про них могу сказать. Лиц нет. Кто они, сколько их, откуда шли, куда пойдут — не моё знание и не моё дело сейчас. Мне важно только одно: они внизу, и они живые.

От берега уходит баркас.

Он идёт тяжело. След за ним широкий, вялый, и сам он сидит в воде глубоко.

— Федя, — говорю я. — Посмотри на лодку. Что видишь?

Он молчит секунду. Он там смотрит.

— Гружёный по самое некуда, — говорит он, и голос у него делается другим, домашним и злым сразу. — Он ещё с мели выбирается, командир. По следу видать, воду мутит. Ему сейчас ни ходу нормального, ни отвернуть.

— Сколько ему надо, чтоб пошёл?

— Дай ему прямого ходу немного, и он оторвётся. Ему бы вылезти на глубину, а там он побежит.

Вот и мера.

Слова про спасение и про прикрытие в кабине не работают. Я смотрю на баркас. Ему нужен прямой ход и больше ничего, и это я могу увидеть глазами и по этому себя проверить.

— Работаем на лодку, — говорю я. — Всё, что делаем, делаем ради её хода. Погоней не занимаемся.

— Понял.

Они приходят справа и сверху.

Двое. Идут вниз к воде длинной пологой линией, разворачиваются над берегом и снова идут, и я вижу, как под ними по воде у самой кромки ложится частая рябь и как шевеление на берегу распадается и ложится.

У ведущего нос жёлтый.

Я его узнаю, и меня от этого узнавания коротко продирает холодом. Тот же почерк, тот же самый цвет. Может, та же машина, может, просто такая же. Мне про них знать нечего, кроме того, что они делают вот сейчас.

А делают они простое. Ходят и бьют.

Меня подбрасывает изнутри: развернуться и достать их. Догнать, всадить, чтоб они там дымами ушли в воду.

Тихо, Иванов.

Я на бомбардировщике. Он не догонит, он не перевернётся вокруг них, и если я начну эти игры, то через минуту буду болтаться над водой пузом кверху со своими тремя. Их машины сделаны, чтоб догонять. Моя — чтоб идти и везти.

Зато у моей есть одно, чего нет у баркаса.

Я большой.

Меня им видно лучше. Пусть смотрят на меня, а лодку отпустят.

Значит, встану у них на пути.

Не догоню. Перережу им дорогу, пройду длинной прямой между ними и берегом так, чтобы следующий их заход шёл через меня.

— Аркадий, — говорю я. — Я хочу лечь поперёк того, как они заходят. Прямо у них по носу, между ними и берегом. Сейчас доворачиваю.

— Погоди, — говорит Литвинов.

Он говорит это негромко и очень быстро.

— Сейчас довернёшь — выведешь их обратно на людей. Они пойдут за тобой и снова окажутся над кромкой. Дай им закончить этот заход и уйти на обратный. Я скажу когда.

Меня будто по рукам ударили.

Я секунду сижу и держу в себе то, что сейчас поднимается: злость, стыд, желание сказать, что я вообще-то командир и решаю тут я.

И придавливаю это.

Потому что он прав. Он держит берег на карте, а я держу его в глазу, и глаз у меня один рабочий, и он видит хуже, чем карта. Если я сейчас доверну по своему нетерпению, я загоню их на людей своими руками.

— Понял, — говорю я, не трогая ручку. — Скажешь.

— Скажу.

И я жду.

Это самое поганое, что есть в этой работе.

Внизу бьют. Я это вижу: по воде у кромки ложится частая рябь, и шевеление на берегу распадается, и кто-то там сейчас ложится лицом в мокрый песок и закрывает голову руками, а я иду мимо по прямой и жду отметки штурмана.

Секунды делаются длинные. Я их считаю дыханием, потому что часов у меня нет и смотреть на них некогда: вдох, выдох, ещё вдох. Пять вдохов. Восемь.

Нога от неподвижности начинает мелко дрожать. Я её перекладываю на педали, переношу усилие выше, в бедро, и держу, и от этого держания у меня сводит поясницу.

Руки на управлении сами хотят повернуть. Не по решению, а как чешется ушибленное место. Я их придерживаю и веду прямо.

Аркаша молчит. Аркаша считает. У него там карта, карандаш и берег, и он сейчас единственный в этой машине, кто знает, где что лежит.

Терпи, Иванов.

— Пошли на обратный, — говорит Тимка. — Пашка, оба развернулись!

— Теперь, — говорит Литвинов. — Довороти влево, ложись вот так и держи прямо.

Я доворачиваю.

Доворачиваю малым движением, потому что уже знаю: эта берёт ногу живее, чем наша, и, если сунуть привычно, я перекручу. Ручка идёт, машина ложится, и я вывожу её на длинную прямую и держу.

Я иду между ними и берегом.

Медленно, тяжело, как арба, поперёк того направления, по которому они собираются идти на людей. Никаких хитростей. Никакого манёвра. Просто стою у них на дороге всей своей тушей.

— Смотрят, — говорит Тимка. — Пашка, они нас видят!

— Пусть.

Дальше не от меня зависит.

Они могут пройти мимо и продолжить своё. Я не могу их заставить, я могу только предложить себя вместо лодки. Что они выберут — их дело, и от того, что я об этом сейчас думаю, ничего не изменится.

— Ведущий отваливает от берега! — Тимка почти визжит. — Пашка, он на нас идёт! Заходит сзади!

Вот и всё.

Страх приходит сразу и целиком, и приходит он с направлением, снизу-сзади, оттуда, где у меня спина и где мои двое.

— Работаем, — говорю я. — Никуда не дёргаюсь. Держу, как иду. Тимка, говори мне его. Федя, готовься.

— Держи, командир! — орёт Федя.

Я держу.

Не крутиться. Начну вертеть — собью своим стрелкам сектора, потеряю линию и в итоге снова притащу этих двоих к берегу.

Значит, идём ровно, как трамвай, и терпим.

— Ближе! — кричит Тимка. — Ближе он, ближе!

— Командир, угол! — Федя. — Дай мне вправо ниже!

Рука уже хочет дать. Тридцать лет и один сегодняшний бой — этого хватило, чтоб на «дай угол» тело отвечало само.

Держу.

Потому что справа ниже у меня берег. Там люди, и я не знаю, что за ними и куда пойдёт то, что мимо. Дать сейчас — значит развернуть работу Феди в сторону кромки.

— Секунду, — говорю я.

Смотрю. Кромка идёт слева-сзади, вода — подо мной, впереди чисто.

— Даю. Бери.

Кладу машину туда, куда он просил, и держу столько, сколько ему нужно.

Федя вжимается в упор и бьёт.

Отдача дробит пол под сапогами, идёт по набору и приходит мне в ладони через управление. Корпус вздрагивает мелко и зло. Кабину затягивает своей гарью, кислой и сухой, и я дышу этим и держу линию.

Что он там делает и попадает ли — не моё знание. Моё дело — дать ему возможность и не сорвать её прежде срока.

По обшивке проходит стук.

Быстрый, сухой, будто кто-то сыпанул гравием по железной крыше. Раз, потом ещё раз, и машину коротко ведёт, и я подхватываю.

Вот и заплатили.

Заплатили чужим железом, которое мне дали на час и за которое утром кто-то отвечал головой.

Я слушаю её всем телом. Моторы отвечают. Управление отвечает. Что мне пробило и где — я не знаю, узнаю на земле, и до земли я про это думать не буду, потому что думать тут не о чем.

Кровь снова идёт по брови.

От тряски или от того, что я лбом достал до чего-то, неважно. Она заливает правый глаз, и мир справа делается красным и мутным, и я мигаю, и это не помогает.

Одним смотрю. Сегодня я к этому уже привык.

Резче двигать нельзя. У меня чужая машина и половина зрения, и любое лишнее движение сейчас будет вслепую.

— Тимка, где он?

— Отваливает! Пашка, отваливает он вверх и вправо!

— Второй?

— Второй за ним пошёл! Оба уходят!

Ушли.

Не сбили, не сожгли, не победили. Ушли с того куска неба, который я вижу, и почему они ушли, я не знаю и знать не буду.

Меня тянет за ними.

Тянет глупо, азартно, до зуда в руках: довернуть вслед, посмотреть, добить. Я эту тягу глушу второй раз за вылет. Догнать я их не могу. Уйду за ними — оставлю берег.

— Федя, лодка!

Молчание. Он смотрит.

— Пошёл! — орёт он. — Командир, пошёл он! След переменился, видишь? Вылез, зараза, вылез на глубину!

Я смотрю левым глазом вниз.

Тёмная точка на воде идёт теперь иначе. След за ней стал уже и длиннее, и она уходит от берега прямо, и уходит она заметно быстрее, чем шла.

Пошёл.

Вот это и есть всё, что я сегодня сделал. Один отрезок хода. Лодка выбралась и пошла.

Куда она придёт, сколько в ней людей, дойдёт ли она вообще — я не узнаю никогда. И тех, кто остался на кромке, я тоже не считал.

Победой это не назовёшь. Но лодка ушла, а значит, я сделал то, что успел.

— Аркадий, курс домой.

— Держи правее и вниз, — говорит он. — Дам поправку через минуту.

— Понял.

Нога у меня уже почти не работает.

Она держит педаль, но держит с задержкой, и я это чувствую по тому, как машина начинает подрагивать по курсу, когда я ослабляю усилие. Приходится помогать рукой и делать всё загодя.

Я пробую переставить её удобнее. Ставлю на пятку, потом на носок, потом опять как было. Бедро отзывается тупо и глухо, будто в нём лежит горячий кирпич, а от колена вниз идёт мелкая дрожь, которую я не могу остановить, потому что она не от страха и не от усталости, а просто мышца выработалась.

Ничего. Дотяну. Нам домой, а не в бой.

— Тимка, цел?

— На месте! — он втягивает воздух и добавляет тише: — Ничего мне, Пашка.

— Живой, командир, — говорит Федя. — Побили нас маленько.

— Штурман живой.

Побили. Маленько или не маленько, покажут те, кто в этом понимает.

Я вытираю правый глаз рукавом.

Рукав становится грязно-красным, и в нём остаётся тёплая липкая полоса, и я вижу этим глазом чуть лучше, на минуту, а потом всё снова затягивает. Тогда я вытираю ещё раз и понимаю, что так и буду вытирать до самой земли, через каждую минуту, как дворник — стекло.

Домой, значит.

Домой на чужой машине, с дырами в чужой обшивке, с ногой, которая почти сдалась, и с лодкой, которая пошла и которую я больше не увижу.

Ремень режет плечо.

Я подтягиваюсь на нём, вжимаюсь лопатками в спинку и сажусь прямее, и от этого в пояснице разгибается что-то, что стояло скрученным весь бой. Плечи ноют. Руки на управлении лежат тяжело, будто в них налили воды.

Впереди ещё вести.

В наушнике Тимка коротко втягивает воздух и обрывает себя на середине. Голос у него делается тихим и взрослым.

— Пашка, — говорит Тимка, — с запада идут ещё двое.

Глава 6



— Тимка, положение! — говорю я. — Где они относительно нас, куда идут, сближаются?

— Сзади справа! — отвечает он сразу. — Выше нас, Пашка. Идут наискось, к нам подбираются.

Вот и всё, что у меня есть.

Число и сторона. Больше про них я не знаю ничего, и то, что где-то там, во времени, лежит вся моя школьная память про сорок первый год, мне сейчас не сообщит ни типа, ни высоты, ни того, зачем они сюда идут.

Меня тянет повернуть голову и посмотреть самому.

Тянет сильно, потому что тридцать лет я привык видеть своё небо своими глазами, а не слушать про него чужой голос. Я поворачиваю на треть и упираюсь в красное.

Правый глаз залит кровью. Мутное, тёплое, и мигание не помогает, и я это уже проверял.

Значит, справа у меня Тимка. Другого правого глаза мне сегодня не выдадут.

— Говори всё время, — говорю я. — Меняются, сразу говори.

— Слышу!

— Аркадий. Они по нашему обратному пути идут или мимо?

Литвинов молчит секунду. Он там смотрит на карту и на них.

— Пересекают, — говорит он глухо. — Наш путь домой они режут. Если так пойдут дальше, встретимся.

Правая нога у меня на педали, и от ноги вверх идёт тупая боль, которая не отпускает педаль ни на секунду. Я перекладываю усилие в бедро и придерживаю линию.

Довернуть сейчас? Резко, широко, пока они далеко?

Нет. У меня нет ни цели для такого доворота, ни ноги для него. Я сорву устойчивый ход и получу ту же пару, только уже без запаса.

Идём, как идём. Пусть покажут себя.

Они показывают.

— Ближе! — говорит Тимка. — Пашка, они разошлись, один выше другого. Машины худые, как те, что над берегом ходили.

— Тип?

— Такие же, Пашка. Точно такие же.

Худые, с тонким носом, с той посадкой в воздухе, которая ни с чем не путается. Тимка их видит, а не гадает, и мне этого достаточно, чтобы принять к работе.

Немцы. Худые, с тонким носом, двое.

Не те, что ушли от берега. Те ушли на своё, эти пришли с запада, и связывать их между собой я не буду, потому что связать я могу только выдумкой, а выдумка мне сейчас не нужна.

— Они на нас идут? — говорю я. — Или мимо, к берегу?

— На нас, — говорит Тимка. — Пашка, они строятся, точно на нас!

Ну вот.

Выбрали. Большой, тяжёлый, дырявый, идёт медленно, и ясно, что ему сегодня досталось. Хорошая работа для двоих.

Почему выбрали, что у них в голове, приказано им, или сами решили — не моё знание. Мне отдано только видимое: две машины строят заход на меня.

Внизу и позади остаётся берег.

Там, где-то на воде, идёт баркас, который час назад вылез с мели и пошёл. Меня туда тянет левым глазом, тянет вернуться и покрутиться ещё, посмотреть, довести.

Не выйдет.

Ноги на второй круг у меня нет. Глаза нет. И если я сейчас пойду обратно, то к берегу приведу за собой ещё двоих, и всё, что мы там купили, отдадим назад с процентами.

Лодка получила своё начало хода. Дальше она сама.

— Аркадий, — говорю я. — Ведёшь домой. На Кагул.

— Есть на Кагул.

И вот тут внутри у меня что-то поднимается и просит объясниться. Перед кем — перед экипажем, перед собой, перед теми на берегу.

Домой на глазах у противника. Уходить, когда у тебя за спиной вода, а над водой люди.

Придави, Иванов.

Домой — это единственное, что я сегодня могу выполнить руками, ногой и этой машиной. Виражи мне недоступны, погоня недоступна, второй круг недоступен. А довести троих до своей полосы и притащить эту пару туда, где по ней могут ответить, — доступно.

Крутануть я не могу. Значит, идём прямо и живём на этой прямой.

— Слушайте меня, — говорю я. — Домой идём одной линией. Дёргаться не буду, крутиться не буду. Аркадий, поправки давай заранее, за минуту. Мне ногу готовить надо.

— Понял, — говорит Литвинов, и в этом «понял» ни одного лишнего звука.

— Тимка. Передай на базу. Где мы относительно пути, откуда угроза и что нас побили. Коротко.

— Есть передать!

— Федя, сектор твой. Проси то, что я могу дать.

— Понял, командир! — и тут же: — Ты только не крути, я тебя прошу.

— Не буду.

Тимка работает.

Я слышу в наушнике, как он говорит, и слышу, что говорит он коротко, по делу, без единого слова о том, какие мы молодцы. Потом пауза. Потом ещё раз.

С земли отвечают.

Голос приходит сквозь треск, спокойный и очень будничный, будто человек на том конце принимает не нас, а сводку погоды.

— Принято, — говорит он. — Понял вас.

И всё.

Ни «держитесь», ни «идём к вам», ни «сейчас поднимем». Приняли. Услышали.

— Гриша это, — говорит Тимка. — Миронов.

— Хорошо.

Больше от них сейчас ничего и не надо. Они узнали, что мы идём, с чем идём и кто у нас на хвосте. Что они с этим сделают и успеют ли — я не знаю и рассчитывать на это не буду. Рассчитывать я буду на педаль, на ремни и на троих в этой машине.

Мы идём домой.

Идём длинной прямой линией, и я эту линию держу так, как держат больное место: не трогая лишний раз.

Работать теперь надо иначе, чем я работал всю жизнь.

Всю жизнь я исправлял по факту: пошла машина не туда — довернул. Здесь так больше нельзя, потому что «довернул» у меня стоит теперь дорого и приходит с опозданием. Значит, всё начинаю загодя. Вижу, что через полминуты потребуется, и начинаю сейчас, малым, чтобы не пришлось потом большим.

Нога у меня отвечает с задержкой в полтакта.

Я нажимаю — и она сначала не идёт, а потом идёт, и бедро на это отзывается такой болью, будто по нему бьют изнутри. Когда становится совсем никак, я подхватываю колено рукой и переставляю ногу, как переставляют чужую вещь. Силы это не прибавляет. Это только даёт мне вернуть стопу туда, где она нужна.

Кресло под меня так и не подогнано, и в воздухе я его не подгоню.

До правой педали приходится тянуться чуть дальше, чем удобно, и от этого корпус едет вперёд, и его удерживает ремень, а ремень режет плечо. Я упираюсь лопатками в спинку и сажусь так, чтобы вес шёл через ремни, а не через ногу.

Тело подсовывает мне привычные движения.

Оно опять хочет всё делать полной рукой, полным ходом, как делало на своей машине. А этой столько не надо. Я про эту уже знаю: она берёт ногу живее, а на ручку отвечает с ленцой, и, если дать привычно, я перекручу и буду вылавливать обратно.

Обрезаю. Каждое движение обрезаю до той меры, которую эта машина показала мне над берегом.

— Пашка, — Литвинов. — Через минуту поправка влево, малая. Готовься.

— Готовлюсь.

Вот за это я ему сегодня в ноги поклонюсь, если смогу согнуться.

Он не даёт мне команду в тот момент, когда её надо выполнять. Он даёт её загодя, чтобы я успел подготовить ногу и войти в работу плавно. Он не спрашивал меня, что у меня с ногой. Он просто увидел, как я работаю, и подстроился.

Кто я такой, он до сих пор не знает и, по-моему, не верит ни одному моему слову. А работать он со мной стал так, будто мы двадцать лет в одной кабине.

— Давай, — говорит он.

Я даю. Малым. Машина уходит влево на волосок, я подхватываю и ставлю обратно на линию.

— Есть.

— Держи так.

— Идут! — Тимка. — Пашка, верхний свалился, он на нас идёт! Сзади справа, сверху!

Началось.

Всё во мне требует бросить машину в сторону. Резко, немедленно, инстинктом, которому миллион лет: уйди с того места, куда сейчас ударят.

Держу.

Потому что там, сзади, у меня двое живых; и у них есть работа, и работа эта возможна только тогда, когда самолёт под ними идёт понятно. Дёрну — оставлю их без сектора, а себя с ногой, которой на такое движение уже нет.

— Не крутим, — говорю я. — Идём, как идём. Тимка, веди его.

— Ближе! Ближе, Пашка!

— Командир! — Федя. — Мне ниже надо! Дай ниже чуть-чуть, самую малость!

Готовлю.

Заранее, как учил меня сейчас Литвинов: беру ногу, ставлю её, чувствую задержку, жду её и потом уже даю движение. Малое.

— Даю.

Машина проседает на ту малость, которая нужна Феде, и внизу у него открывается его сектор, и я держу в этом положении и считаю про себя.

Федя бьёт.

Отдача идёт по набору, приходит в пол, в кресло, в мои ладони через управление. Ремень дёргает плечо, и плечо отзывается болью до самого локтя. Кабину затягивает своей гарью, кислой и сухой.

Что там у Феди, попал он, или отвернул тот, мне сейчас смотреть не время. Моё дело — линия.

По обшивке приходит стук.

Тот же самый, сухой, злой, будто гравий по крыше. Машину коротко ведёт, и я ловлю её ограниченным движением, тем, на которое хватает ноги.

Слушаю.

Моторы отвечают. Оба. Управление отвечает. Ручка ходит, как и ходила, педаль — как позволяет мне моя нога, и никакого нового провала я не чувствую.

Что мне сейчас пробило и где — я не знаю. И придумывать не буду, потому что придуманная поломка отнимает голову вернее настоящей.

— Прошёл! — кричит Тимка. — Пашка, он вниз ушёл и вперёд!

Ушёл вперёд.

Внутри дёргается: довернуть за ним, посмотреть, что с ним стало. Я эту тягу глушу так же, как глушил над берегом. Он быстрее. За ним не угонишься, а Кагул лежит в другой стороне.

— Аркадий, идём?

— Идём. Через полторы минуты ещё поправка.

— Понял.

Я вытираю глаз рукавом.

Рукав уже стоит колом от старой крови, и толку от него мало. Полминуты я вижу справа чуть лучше, потом всё опять затягивает красным. Я перестаю за это бороться и смотрю левым.

Мир у меня сузился до одной стороны, до голоса Тимки и до карандаша Литвинова.

Странная штука. Я всю жизнь гордился тем, что вижу всё: и в кабине, и вокруг, и за спиной у экипажа. А сейчас я слепой наполовину, хромой на ногу, и меня несут вперёд трое парней, о которых я знаю только имена.

Я не вижу половины неба. А Тимкин голос ведёт меня сейчас точнее, чем вёл бы мой собственный взгляд.

— Второй заходит! — Тимка. — Пашка, второй, снизу справа!

— Веди его.

— Идёт ровно! Ближе!

— Федя?

— Жду, командир! Пусть подойдёт!

Федя ждёт. Колено у него своё, а терпение — общее.

— Дай мне сектор, командир! Вправо ниже, как в тот раз!

Нога.

Нога отвечает хуже, чем в тот раз. Я готовлю её, подхватываю рукой, ставлю, жду задержку, даю.

Даю меньше, чем он просит, потому что больше у меня нет.

— Держи так! — орёт Федя. — Хорош!

И работает.

Опять отдача, опять дрожь, опять гарь на языке. Я держу линию и слушаю моторы под этот стук, и они отвечают, и это единственное, что меня сейчас интересует.

Проход. Тишина.

— Отвалил, — говорит Тимка, и голос у него на выдохе. — Пашка, оба справа держатся, но отошли.

— Аркадий, далеко до дома?

— Скоро.

Скоро.

У меня в ноге уже почти ничего не осталось. Я это чувствую честно: мышца выработалась, и то, что она ещё держит, она держит на злости и на привычке. Каждое движение теперь надо покупать заранее и платить за него вперёд.

Ещё один такой заход я, наверное, выдержу.

Два — не обещаю.

— Пашка! — Тимка вдруг меняет голос. — Впереди слева ещё двое! От поля идут!

Вот теперь мне становится по-настоящему холодно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.